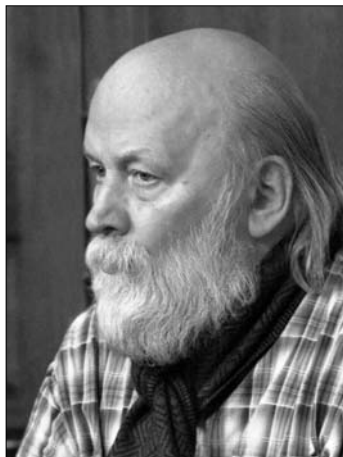


ЛЕОНИД БЕЖИН



КОРОНАЦИЯ И СМЕРТЬ ФАРТОВОГО ЖИГАНА

ПОВЕСТЬ

Наша арбатская коммуналка образовалась после уплотнения бывших квартирантов (или просто — бывших) в восьмиэтажном доходном доме, возвышавшемся мрачной громадой между Собачьей площадкой и Дровяным складом. Там же тянулись и наши двory, соединённые узкими проходами между сараев, проломами в кирпичных стенах и соответственно называемые проходными.

Дворы с голубятнями, обнесёнными дощатыми заборами палисадниками, где росли жёлтые, на высоких — по окна первых этажей — стеблях цветы золотые шары, именуемые разводившими их интеллигентными старушками рудбекией. Именуемые, вероятно, из опасения. Тогда у обитателей коммуналок роилось множество всяких страхов и опасений, и обоснованных, и совершенно вздорных, нелепых, решительно ничем не обоснованных.

Вот и старушки, разводившие золотые шары, из суеверия опасались подозрений, будто они имеют касательство к золоту, припрятанному у них в перинах, под половицами или зарытому в тех же палисадниках. Вздорные опасения, что и говорить. Хотя всегда находились охотники перекопать у них в палисадниках землю, услужливо вынести и перетряхнуть перину, чтобы пух летел по двору, или выворотить ломом и заменить полусгнившую половицу. Правда, золота при этом не находили. Видно, слишком глубоко запрятано.

БЕЖИН Леонид Евгеньевич родился в 1949 году в Москве. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ и аспирантуру при нём. Прозаик, автор романов, повестей, рассказов. Лауреат нескольких литературных премий. В данное время является ректором Московского института журналистики и литературного творчества.

Завершают же картину наших дворов перенесённые сюда откуда-то памятники, оставшиеся от гипсовых статуй трубочей и знаменосцев (сохранились лишь проволочные каркасы, ступни ног и наполовину разбитые головы), деревянные сараи с погребями, палатки для приёма стеклотары, или, проще говоря, бутылок, помойки с заваленными доверху баками и бандитские подворотни.

Помимо золотых шаров, за оградой палисадников всё лето цвели настурции и бегонии, воспетые нашим дворовым фольклором:

*Кто сорвёт настурцию,
Будет выслан в Турцию.
Кто сорвёт бегонию —
Выслан в Патагонию.*

Мы на все лады распевали эту песенку, имея смутное представление о том, где находится эта самая Патагония, куда высылают за сорванную бегонию, и были уверены лишь в том, что не под Воркутой и Магаданом, а вот ближе или дальше, с точностью сказать не могли, поскольку здесь наши географические познания иссякали...

Зимой арбатские дворы заваливало снегом по те самые окна первых этажей, до которых летом доставали золотые шары. Весной из-под осевших сугробов с голубиным воркованием вырывались пенные ручьи; летом гром гремел так, словно над нами с треском рвали коленкор или иную, неведомую материю; а осенью оконные стекла расчерчивало косыми иголками дождя и в форточки заносило багряные кленовые листья, кружившиеся под потолком и мягко планировавшие на буфет, диван или кресло...

Жила наша коммуналка по неписаным законам цыганского табора. Впрочем, какие там законы! Всё настолько смешалось и приобрело такой иррационально-сюрреалистический отсвет, что даже наши бывшие не были разборчивыми, сдабривали французскую речь непечатным русским словцом, и самые изысканные по своим манерам, утонченно воспитанные из них не брезговали воровским жаргоном, позволявшим сказать: жили мы по понятиям.

Глава первая

ДВЕРЬ В КОНЦЕ КОРИДОРА: ПОБАИВАЛИСЬ И УВАЖАЛИ

Поэтому чистить ботинки в коридоре у нас не просто запрещалось, но считалось *западно*. Это словцо тоже было не из нашего лексикона, но мы им пользовались — и пользовались с известным намёком, косясь на обитую драной клеёнкой, изрезанную ножом дверь в конце коридора, как будто исходило словцо не от нас, а от нашего соседа, скрывавшегося за этой дверью. Его у нас все побаивались и уважали. Уважали за связи с *подворотней* — блатным миром, недаром наш участковый Емельяныч, бывая у нас, просил: “Вы за ним посматривайте. Он у вас если ещё не жиган, то, во всяком случае, жиганёнок”. Поэтому Ксения Андриановна, концертмейстер филармонии, звала его не иначе, как Дракула или Синяя Борода.

— Слушайте, это же жуткий тип, настоящая Синяя Борода — он всех нас в один прекрасный день перережет, — сдавленным шёпотом возвещала она после очередного визита Емельяныча, от ужаса округляя подведённые фиолетовым карандашом глаза.

— Да куда ему — он же ещё молодой, — возражали ей.

— Молодой да ранний, — упрямствовала Ксения Андриановна и пользовалась случаем, чтобы лишний раз повторить: — Синяя Борода! Говорю вам, Синяя Борода! — Хотя никакой бороды у нашего соседа отродясь не было, и уж тем более синей.

Наоборот, каждое утро он исправно брился перед осколком разбитого (плохая примета!) зеркала, хранимым в мьльнице как величайшая драгоценность. Стригся же он у соседки Матрёны Ивановны Бульбы, обладательницы ручной машинки, расчёски, позаимствованной из банной парикмахерской, и портновских ножниц, коими она ловко обкарывала слишком буйные кудри и дикие, растрёпанные патлы.

Причём стригся он коротко, до белобрывого ёжика, и носил серьгу в ухе, хотя та же Ксения Андриановна пренебрежительно фыркала на это и за глаза ругала его за дурной тон. По другой версии (мною не проверенной), носил не серьгу, а фикса на зубе, поставленную нашим дантистом Слободаном Деспотом, сербом по национальности, чью фамилию предпочитали лишний раз не произносить, чтобы не возникали нежелательные ассоциации: фикса фиксой, но какие могут быть деспоты в *союзе нерушимом республик свободных*...

Но всё-таки и Слободан, и Матрёна Ивановна, и Ксения Андриановна не раз и с самой изысканной дикцией выговаривали, что чистить ботинки в коридоре — это именно *западно*. И не только потому, что после чистки (к счастью, не партийной) на весь коридор скипидарно воняло гуталином, но и потому, что коридор — так же, как и кухня с закопченными, засаленными примусами, и жуткая, пещерная, неандертальская, запиравшаяся на огромный ржавый крюк уборная (не путать с концертмейстерской уборной, где гримировалась Ксения Андриановна) — являлся общественной или коммунальной собственностью, в отличие от комнатух, почему-то называвшихся у нас квартирами.

О комнатухах каждый мог сказать: “Моя квартира”, а о коридоре — нет, поскольку он в равной мере принадлежал всем. А кроме того, в коридоре висел телефон с огрызком карандаша на шнурке (все обои вокруг были исписаны телефонными номерами). И если звонили не тому, кто мимоходом брал трубку, то он, положив её на круглый столик, стучал кулаком в дверь чужой квартиры: “Вас к телефону!” — или даже: “Вас к аппарату!” И каждому было ясно, к какому именно аппарату его вызывают и что этот аппарат не какой-то неведомый и загадочный (мало ли на свете разных аппаратов!), а вполне обычный, с крутящимся диском, циферками и буквами. Хотя буквы потом упразднили... Словом, телефон. И говорили по такому телефону — невзирая ни на какие протесты (“Голубушка Матрёна Ивановна, нельзя ли покороче? Я жду звонка из филармонии...”) — иногда часами. И только Синяя борода по телефону никогда не звонил, и ему не звонили, словно и это было *западно*.

Поэтому какие уж там ботинки — никто бы не потерпел запаха гуталина или ваксы, а что ещё важнее — посягательства на коммунальную собственность, оберегаемую столь же ревниво, как и прочие завоевания пролетарской революции, отгремевшей совсем недавно, всего-то двадцать лет назад (а это не срок для истории). Из этого следует, что и время стояло довоенное — тридцатые годы, когда меня ещё не существовало и в то же время я уже существовал. Был отброшен некоей магической проекцией из пятидесятих в тридцатые или спускался туда на потайном лифте, как члены правительства — в особый, предназначенный только для них, бункер (скажем, под самым Кремлём). Отброшен некоей нездешней силой — взрывной волной, поскольку мне страстно, непреодолимо хотелось знать, а что там было, в эти самые тридцатые. И я стремился совместить: было — не было, и совместить так, чтобы *не было* обратилось в *было*.

Это казалось мне возможным — хотя бы на миг очутиться в желанном бункере, этом недоступном для всех прочих бомбоубежище. И пусть я, родившийся после войны, в сорок девятом, попал туда незаконно, я сознавал, что их — законных — почти всех убьют, разорвут на куски бомбами и фугасами. Или покалечат на войне, оставят вместо ног культышки, поскольку им так назначено по закону судеб и времён (сороковые следуют за тридцатыми, как дорогие спальные вагоны за дешёвыми плацкартными).

Меня же одного не убьют. Меня защитят подземные своды, толстые, непробиваемые стены бомбоубежища, и члены правительства под доносящийся сверху гул канонады будут ласково обнимать, гладить по голове и всячески внушать мне, чтобы с ними я ничего не боялся. Я же, допущенный в спасительный бункер и обласканный членами правительства, буду жадно глазеть по сторонам и стараться всё запомнить, чтобы, вернувшись в свои пятидесятые, рассказать об этом, как я рассказывал о чём-то, случившемся во дворе или на улице, тем, кто не мог этого видеть, потому что безвыходно сидел дома (“Я сегодня не выхожу”).

Вот в чём секрет того, что, расспрашивая о довоенных тридцатых мать, отца и соседей, я внезапно прерывал их и принимался взахлёб рассказывать сам, и с такими подробностями, о каких они и не подозревали, и поэтому лишь удивлялись моей подсазнице-фантазии. И им невдомёк, что я вовсе не фантазировал, а, в отличие от них, доподлинно знал то, что им было известно лишь понаслышке. Ведь они воспринимали всё в горизонтальном измерении, плоско и однозначно, мне же, спускавшемуся в потайной бункер, ставилась доступна таинственная вертикаль.

Глава вторая

НЕМЕЦ ПО МАТЕРИ И РУССКИЙ ПО ОТЦУ

Однако хватит об этом: рассказ не обо мне. Сам я ещё долго вообще не умел чистить ботинки, больше полагаясь на отца, настолько не принимавшего мои детские, с вечно развязывавшимися шнурками ботинки всерьёз, что он мог наскоро — двумя махами щётки — отзеркалить их до блеска. Делал он это в коридоре, возле столика с телефоном. И его никто не осуждал, и это никем не воспринималось как посягательство на священную коммунальную собственность.

Но это происходило уже в мои пятидесятые годы. Сейчас же, повторяю, речь не обо мне, а о *другом*... скажем так для красоты слова, *ещё неведомом избраннике, но только с русской душой* (стихотворение про избранника с русской душой нам задали выучить наизусть в красной кирпичной 94-й школе по Большой Молчановке, где я отучился четыре года). О русской душе нашего избранника уместно упомянуть, поскольку сам он если и не был чистокровным немцем, то фамилию носил немецкую — Браун.

Столь же уместно по этому поводу вернуться к упомянутому ритуалу и добавить, что и на лестнице у нас ботинки не чистили. На лестнице чёрного хода воняло кошками и мусорными ведрами. А на лестнице хода парадного было темно (а если ввинчивали лампочку, то мы, мальчишки, не успокаивались, пока не разбивали её метко пущенным из рогатки камушком), и приходилось уступать дорогу тем, кто сам спускался и поднимался по ступеням или спускал и поднимал с собой велосипед, лыжи, детскую коляску.

Да и шика не было — махать щёткой на тёмной лестнице. В таком же деликатном деле, как ритуал, нужен прежде всего шик. Да, ботинки следовало чистить с особым шиком, и поэтому чистили их во дворе, на виду у всех. Умывшись, причесавшись и надев чистую майку с надписью *Трудовые резервы*, выходили во двор и выносили с собой щётку, баночку с гуталином и бархотку для наведения блеска. Ставили ногу на низенький заборчик, окружавший клумбу, на выпотрошенное, принесённое с помойки кресло или ящик из-под бутылок (подобные ящики китайской стеной окружали палатку для приёма посуды) и — приступали к священнодействию.

Сначала окунали щётку в гуталин или ваку, оскверняя их девственную поверхность. Затем размазывали гуталин по ботинку, после чего лёгкими касаниями доводили стенки ботинок до нужного блеска, чтобы после этого закрепить достигнутое бархоткой, чёрной или коричневой, в зависимости от цвета ботинок. Полировать коричневые ботинки чёрной бархоткой тоже считалось *западло* (даже при коричневом гуталине) так же, как и чёрные — коричневой.

Я так подробно рассказываю об этом, поскольку в тридцатые годы — при всеобщем коллективизме, дальнейшем уплотнении бывших и коммунальной жизни — чистка ботинка была единственным проявлением уважения к себе, собственного достоинства и, в конечном итоге, личной свободы. Для тридцатых, предвоенных годов это был глоток свободы. Свободы, доступной не каждому, а лишь тому, кому давался шик и кто умел держать фасон, отзеркаливая щёткой, а затем бархоткой мыски своих ботинок.

При этом мимоходом замечу, что вместо ботинок многие носили матерчатые тапочки, которые являлись такой же приметой времени, как и футболки со шнуровкой на груди. Тапочки гуталином, естественно, не покрывали, а выбеливали зубным порошком или слегка разведённым водой толчёным

мелом. Может быть, и в этом был некий шик — я допускаю; правда, сами матерчатые тапочки я уже не застал. Мода на них прошла вместе с тридцатыми. Хотя, может быть, может быть, — не спору, но вот чего в них точно не наблюдалось, так это свободы.

В том-то и весь сюр тридцатых, что белёные тапочки — так же, как и футболки со шнуровкой, подземные дворцы метро, лагеря под Воркутой и Магаданом — стояли уже за гранью рационально познаваемого мира. В белёных тапочках неким образом угадывались печать рабства и знак смерти.

Я это остро чувствовал по фотографиям тридцатых годов, хранившимся в нашем семейном альбоме. Слишком беззаботно все на них хохотали, дурачились, от избытка веселья по-детски высовывали язык, показывали языком, будто у них за щекой спрятан неведомо откуда взявшийся шарик, готовый выпрыгнуть изо рта, приставляли друг другу к затылку рожки. И все, конечно, ходили в белых тапочках (строгие, начищенные ботинки не позволили бы так себя вести). Такая отчаянная беззаботность вскоре оборачивалась чьей-либо смертью или арестом. Недаром белые тапочки надевали на ноги покойникам перед тем, как их заколотить в гробу.

Ни у кого в нашем дворе начищенные ботинки так не сверкали, как у нашего соседа Кольки Брауна. Никто так не ставил ногу на низенький заборчик или ящик из-под бутылок, не окунал щётку в вакуу, оскверняя её девственную поверхность, не размазывал вакуу по стенкам ботинок, не орудовал щёткой, а затем бархоткой, как он, тот самый *неведомый избранник*, скрывавшийся за обитой драной клеёнкой дверью, немец по матери и русский по отцу.

Фамилия отца была — Егоров, но Кольку всё равно звали Брауном и только Брауном, поскольку очень уж было стрёмно, заманчиво и причудливо. Все во дворе знали, что Колька — вор из подворотни, фамилия же у него при этом была не Иванов, не Петров, а — поднимай выше — Браун. Фамилия, как у академика ВАСХНИЛ, директора ВДНХ, ВЦПКиО или народного комиссара путей сообщения СССР.

При этом я разузнал, что отца его расстреляли за крупную растрату, мать же повесилась в лагере. За Колькой присматривала одноглазая тётя Зина, но она вскоре спилась (*глоток свободы* ей заменял стакан водки), и, в сущности, Колька остался в своей квартире один. Чтобы подкормиться, стал подворовывать, а там и воровать.

Вот такие обыкновенные чудеса — чудеса в духе тридцатых. И немецкая фамилия не помешала короновать Кольку, уже не жиганёнка, а фартового жигана, поскольку Колька Браун так ловко воровал, что его взяли с поличным только раз, и сидел он не где-нибудь, а под Воркутой, о чём свидетельствовали главные воровские документы — наколки на груди, плечах и спине.

Глава третья

РАЗМЫТОСТЬ ПОНИМАНИЯ

О том, что Колька Браун — вор, у нас во дворе все прекрасно знали. Даже не то чтобы догадывались или подозревали, но именно знали: в нашем доме есть вор, и показывали на угловой подъезд, называли этаж дома и номер коммуналки, в которой он живёт. Это являлось таким же очевидным, неоспоримым фактом, как и то, что у нас есть священник или попросту поп Филипп, прозванный так, поскольку он служил в храме апостола Филиппа рядом с Арбатской площадью. Косицу длинных волос поп Филипп прятал под парусиновую шляпу, пиджак носил плоский, как с покойника, рубашку всегда застёгивал на верхнюю пуговицу, а рясу таскал свёрнутой в школьном портфельчике.

Также есть у нас художник Васька Тюбик, малевавший плакаты и пропивавший по окрестным пивным ларькам полученную выручку. Есть генерал Мефодий Драч, за которым присылали отливавший чёрным лаком катафалк — служебный автомобиль с кремовыми занавесками на окнах. Есть жизнерадостный дебил Вовочка, живший с бабушкой и носивший одну и ту же тюбетейку зимой и летом. И есть дурочка Маруся, одевавшаяся на

помойке, хотя тогда старые вещи особо не выбрасывали, а отдавали за гроши старьёвщику Мустафе.

Но Маруся отличалась особым нюхом на то, когда и что выносят. Старьёвщика ведь надо дожидаться, пока он пройдёт со своим мешком, оглашая дворы протяжным зовом, похожим на нытьё муэдзина, созывающего верующих на молитву: “Старьё бе-рё-ё-ё-м”. У многих же дожидаться не хватало терпения, и они выносили. А уж тут Маруся выпрашивала или вырывала у них из рук это старьё, если они сами, замешкавшись, ей не отдавали.

Таким образом, Марусю одевали всем двором, и не только одевали, но и подкармливали, особенно по праздникам: совали ей, как нищенке, то кусочек кулича, то крашеное яичко, то украшенную цукатами творожную пасху на блюде, то ломоть окорока с жирком и со слезой. Маруся уносила всё это к себе за сарай или на чердак, жадно поела, записывая в рот, а затем мучилась и стонала от болей в желудке.

Кроме того, о Марусе с суеверным страхом, жалостью и уважением говорили, что у неё сифилис — так же, как у матери, заразившейся от пьяного солдата и спинувшей вместе с ним где-то под Джамбулом.

Ну, и — как полагалось каждому двору, у нас был свой Рыжий и свой Пушкин: кучерявый Сашка Пушкарёв (его даже звали почти как Пушкина) и Володька Цаплин с пылающим костром на голове.

Словом, кого у нас только не водилось, поэтому стоит ли удивляться, что среди прочих имелся в наличии и вор — Колюня, Колька, Николай Браун. Вор же на то и вор, чтобы красть. Казалось бы, это всем известная, непреклонная истина, но у нас как-то не до конца понимали, что между Колькой и украденными вещами существует связь (поясню на примере: первобытные люди не осознавали, что есть причинно-следственная связь между соитием и рождением ребёнка). Некая размытость этого понимания могла иметь лишь одно объяснение, причём совершенно иррациональное и почти сюрреалистическое: нашу русскую природную доброту. Или — что по смыслу то же самое — простоту. Хотя, возможно, это та самая простота, что хуже Колькиного воровства.

Иными словами, Колька Браун был для нашего двора свой, почти родственник. Живи он в другом дворе, и степень родства уменьшилась бы, округлилась почти до нуля. Но он из нашего двора. Туда, во двор, выходили окнами два многоэтажных, громадных дома и пристройка в полтора этажа, называемая бельэтаж потому, что там жила кассирша из театра Вахтангова — Нонна Аркадьевна. Поговаривали, что некогда наша Нонна заменила на Аркадьевну свое отчество Адольфовна, чтобы её не туркали и не злословили, будто она дочь Гитлера. Её любимым словом, которое она без конца повторяла и всюду совала, было *репертуар*. От неё только и слышалось: “Какой у вас репертуар духов?” или “Где вы достали такой репертуар губной помады?” На это ей кто-то однажды ответил: “Однако какой у вас богатый репертуар всяких глупостей!” После этого она долго обижалась, дулась, на всех шипела и фыркала.

Тем не менее, надо сказать, что Кольку эти два дома и пристройка — при всех условиях — любили. Ну, подворовывает Браун — что с того! Воровать-то у нас, в сущности, нечего *при нашем репертуаре*. Зато любить — это наше богатство. По-русски любить и жалеть. И Кольку всем двором за глаза жалели и любили. Даже обожали за единственные у него, но идеально начищенные, сиявшие и переливавшиеся радужным блеском коричневые ботинки, которые Колька, любуясь, сначала надевал на руку, а затем с шиком всовывал в них ноги.

А то, что он вор, обнаруживалось, если у кого-то пропадала какая-нибудь мелочь и дрянь. И тогда Кольку временно, пока не забывалась пропажа, ненавидели, поносили последними словами, часто вершили над ним всем двором самосуд. А могли бы и вовсе прибить, если бы не нож у него в кармане. Нож помогал покончить с раздорами и, как ни странно, способствовал мирному сосуществованию.

Такие были тогда ножи...

И такая вот загадочная русская доброта (или простота). И пусть каждый для себя решит, лучше она или всё-таки хуже воровства...

ПЕРВЫЕ КРАЖИ И ПЕРВЫЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ

Первая детская кража Кольки, с которой он начал свой славный боевой путь (так иронично выразился Слободан Деспот, но впоследствии ирония отпала), была трогательна и невинна. А именно: проголодавшись, он похитил кусок шарлотки с яблоками, испечённой Ксенией Андриановной к своему дню рождения или дню рождения Моцарта, что, в сущности, одно и то же, поскольку оба дня совпадали. Кража сразу обнаружилась, потому что на губах у Кольки налипли крошки от съеденной шарлотки и сахарная пудра. Щёки же были перемазаны яблочным вареньем, до которого он пытался, исхитрившись, дотянуться языком, чтобы слизать его, но так и не смог: языка не хватило, и варенье засохло у него на щеках.

Ему тогда, как истинному вундеркинду в воровском деле, было лет шесть или семь, а то и меньше...

Собственно, из-за возраста Кольки это и сочли даже не кражей, а проступком, подпадавшим под разряд *взять без спросу*, тем более что Колька по неопытности во всём покаялся.

— Это ты взял без спросу? — напрямик спросила его Ксения Андриановна, и Колька сразу сознался:

— Я, тётяшка...

Сознался и даже расплакался от позора, уличённый в преступлении нашей коммуналкой, взиравшей на него с суровым (это вам не шуточки) осуждением.

Его признание так растрогало и умилило Ксению Андриановну, что она неделю угощала Кольку всякими лакомствами, зазывая его к себе, усаживая за пианино и ставя тарелку на клавиши, поскольку стол был занят швейной машинкой, обрезками тканей и немойтой посудой. Скопившуюся за неделю посуду она называла натюрмортом и не спешила отнести на кухню в раковину, это отвлекло бы её от искусства, коему Ксения Андриановна служила всей душой.

Вторая кража оказалась уже посерьёзнее. Кольке стукнуло двенадцать, когда он украл с пианино фарфоровую балерину, изящно оттягивавшую ножку и заводившую за спину руки, словно лебединые крылья. Это не помешало Кольке вынести её за пазухой из дома и загнать на толкучке. Дерзкая кража долго оставалась нераскрытой, пока один из соседей — в утешение Ксении Андриановне — не принёс с толкучки *такую же* балерину, а она оказалась *той же самой*, что было установлено хозяйкой по ей одной ведомым приметам. Подозрение сразу пало на Кольку Брауна. Над ним собрались уже вершить самосуд, но он заперся на ржавый крюк в уборной и пообещал повеситься или уморить себя голодом, если его не простят. Конечно, по доброте и простоте простили...

Третья кража... Впрочем, нет смысла перечислять его первые кражи, поскольку все они сводились к одному: вынес из дома и продал. Ну, вынес и продал ручную машинку и портновские ножницы Матрёны Ивановны, паплету Васьки Тюбика, которую тот, как Решин, для удобства за особые ремни вешал на шею. Похитил и вынес школьный портфель с рясой отца Филиппа, посчитав, что в нём хранится опиум (для народа), который ему так хотелось попробовать...

Однажды чуть даже не выволок зуболюбное кресло Слободана Деспота, но его вовремя остановили и дали ему хорошую взбучку (с возрастом, однако, Колька поставил себя так, что не то чтобы бить — тронуть его уже не решались).

Словом, кражи его разнообразием не радовали, если, конечно, радовали вообще. Впрочем, нашлось одно исключение. Когда у той же Ксении Андриановны срезали на рынке чёрно-бурую лису с воротника пальто, пока она торговалась, и при этом умудрились прихватить из кармана последние деньги, Колька Браун за неё вступился. Он принёс и вернул ей и лису, и деньги, отобранные у рыночных ворюшек. Отобранные с угрозой всех их взять на перо, если фразернут и не вынесут краденое. Ему тогда было уже семнадцать...

Это снова её растрогало и умилило. Ксения Андриановна объявила всему коридору, что отныне Колька, совершивший ради неё такой героический

подвиг (впрочем, настоящие подвиги были ещё впереди), пользуется её полнейшим доверием. И, когда Ксения Андриановна слегла с очередной инфлюэнцией, она попросила Кольку (теперь уже — Николая) по доверенности взять для неё в сберкассе деньги.

Николай поручение выполнил и все деньги принёс до копейки. Ксения Андриановна, просиявшая от умиления и восторга, их даже не пересчитала. И лишь потом выяснилось, что он подделал доверенность и взял с книжки вдвое больше денег, чем она просила, и присвоил солидный куш себе. Присвоил и растратил, как когда-то его отец — с тою лишь разницей, что тот тратил государственные, а его сын — личные сбережения восторженной и доверчивой соседки. И его за это — в отличие от отца — не расстреляли, потому что Ксения Андриановна — по доброте и простоте — его простила и даже не стала заявлять в милицию.

Глава пятая

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЯ БРАУНА

Если бы Колька жил в Одессе, неподалёку от Фонтана и Французского бульвара, и его бы звали не Колькой, а Костей, о нём можно было бы сказать словами известного шлягера:

*Фонтан черемухой покрылся,
Бульвар Французский был в цвету.
“Наш Костя, кажется, влюбился”, —
Кричали грузчики в порту.*

Правда, фонтан с каменным мальчиком, державшим рыбу (из её пасти била вода), стоял у нас на Арбатской площади. И бульваров насчитывалось, по крайней мере, три: Тверской, Никитский и Гоголевский. И грузчики собирались не в порту, а возле мебельного магазина, где их нанимали покупатели буфетов, диванов с валиками и кровати с никелированными шариками на спинках. И нашего Костю звали всё-таки Колькой Брауном.

В остальном же всё совпадало: Колька влюбился в дочь генерала Драча, жившего на третьем этаже, и не в коммуналке, а в настоящей квартире из пяти комнат. Квартире с лепным потолком, балконом, похожим на ложку Большого театра, арочными окнами и угловым фонариком, в ромбовых переплётках которого сверкали и переливались под солнцем разноцветные стёклышки.

Некоторое время эту пятикомнатную квартиру убирала наша Матрёна Ивановна, рассказывавшая, какие там хоромы и какая роскошь: просторные комнаты со шкапами, зачехлёнными креслами, турецкими диванами, зеркалами и даже мраморными скульптурами обнажённых девок и мужиков — срамота, но смотреть приятно. Пол не крашеный, не с мышьиными щелями меж досок, а паркетный, надраенный полотёром до свекольно-красного отлива. Унитаз в уборной не ревет, как у нас, когда спускают воду, и закрывается она не на огромный ржавый крюк, а на никелированную задвижку.

Из-за этих рассказов, собственно, Матрёну Ивановну и уволили, лишив её оклада и премиальных (а заодно и вычетов за опоздания, не вытертую с рояля пыль, разбитую посуду и прочие прегрешения). Уволили за болтливость и неумение хранить тайну, поскольку было сочтено, что она выдаёт военную тайну, как будто данные о расположении генеральских шкафов и диванов могли быть использованы врагами при подготовке к войне.

Впрочем, без всяких *как будто*: могли быть использованы, как и данные о дислокации войск, их передвижении и огневой мощи. Хотя в будущую войну ещё не верили, а больше доверяли завзятым и испытанным острякам — их шуточки приносила из филармонии Ксения Андриановна — и одобрительно посмеивались, когда те называли Большой театр — Большим театром военных действий из-за постоянных склок, интриг, шиканий нанятых клакеров и соперничества враждующих партий. Однако и это не лишало оптимизма, поскольку все знали, что *от тайги до британских морей Красная армия всех сильнее* и всё такое прочее...

Генеральскую дочку звали Богданой, хотя сначала хотели назвать Нинель (наоборот читается как Ленин), но посчитали, что Ленин всё-таки мужского рода, да и новообретённое имя плохо сочетается с фамилией Драч. Плохо сочетается и к тому же содержит нежелательный намёк, звучит оскорбительно для вождя. Получается, что Ленин — драч, дерёт последнюю шкуру с несчастной России. За такой намёк можно было схлопотать срок, оказаться в тайге и испытать на себе силу доблестной Красной армии, бдительно стерегущей таёжные лагерные бараки. Поэтому пусть любимая дочь лучше будет Богданой Драч, — так как-то надёжнее и спокойнее...

Итак, Богдана, избранница Николая Брауна. Красавицей она не была, но была жеманницей, гордячкой и зазнайкой, что ставилось тогда у нас выше красоты, поскольку красавиц во дворе насчитывалось немало — и золотисто-рыжая Лена Володина, и маленькая, изящная, с точёным носиком Галя Кондратьева, и жгучая, иссиня-чёрная брюнетка Люба Фраерман, которую дразнили за ее фамилию (“Отец у тебя фраер, а ты — его дочь — Фраерманша”), но при этом всё-таки признавали красавицей. Словом, были красавицы хоть куда, но мало кто позволял себе так откровенно жеманничать, задирать нос и зазнаваться.

Зазнавались, конечно, но тайком, втихаря, про себя. Выходить же с высокомерным видом на балкон, усаживаться там, как в ложе Большого театра, с презрением смотреть на дворовые игры, усмехаться и затыкать уши, если их участники слишком орала и визжали, — нет, такого наши признанные красавицы себе не позволяли. И только вовсе не признанная, в панаме и с приклеенным к носу берёзовым листочком, чтобы от загара веснушки не высыпали и нос не облупился, Богдана Драч или попросту Драчиха — единственная на весь двор — всех высокомерно презирала, называла дураками и уничтожающе высмеивала. Если же дворовую ораву заносило к ней под балкон, обливала всех водой из велосипедного насоса и бросала в них зажжённые спички, за что ей тоже попадало, но она оставалась довольна и сияла так, словно её не отчитывали, а наоборот, хвалили и одобряли...

За всё это весь двор её ненавидел, дразнил и обзывал, и только Николай Браун угораздило в неё по уши влюбиться. Влюбиться, и лишь потому, что однажды ему довелось случайно увидеть, как ей, сидевшей перед зеркалом с приспущенными лямками ночной рубашки, расчёсывают гребнем волосы и заплетают длинную косу. Это его так поразило, что он — лучше всех чистивший ботинки и поэтому самый свободный в нашем дворе, — стал её верным и послушным рабом. Стал таким джинном из заплесневелой бутылки, выкатившейся откуда-то ей под ноги и откупоренной с брезгливым высокомерием, от безучастного желания посмотреть, что из этого выйдет и какой её ожидает дурацкий фокус.

Глава шестая

БИЖУТЕРИЯ И БУТАФОРΙΑ

Каждое утро Коля Браун выносил во двор венский стул, ставил напротив её балкона и сидел, выпрямившись, чуть ли не весь день, сторожа, когда на балконе соизволит появиться его повелительница. Домашние Богданы Колю прогоняли, обшикивали его, высунувшись из окна: “Катись отсюда!” — ругали последними словами, высмеивали, крутили пальцем у виска; генерал грозил ему с балкона разными карами.

К этому добавляли призывного воркования и щекота Голубкина и Щеголова, две одержимые поклонницы Брауна, влюблённые в него до помешательства. Они прохаживались поодаль от него, но на расстоянии достаточном, чтобы тот их услышал, обменивались выразительными взглядами и с пониманием повторяли: “Любовь! Неземная любовь! Только пусть эта гордячка и зазнайка ни на что не рассчитывает. Николай в любви такой урод и аскет, как и Павка Корчагин”. Но и после этого Николай не уходил.

Мотоциклисту Додику и владельцу чёрной “эмки” Рашиду Салмановичу (его перед самой войной арестовали), державшему свой автомобиль во

дворе, под сенью тополей и акаций, приходилось совершать сложные манёвры, чтобы сидящего Кольку объехать. Однажды во двор задом вырулил грузовик со шкафами, кроватями, связками книг, узлами и тюками (к нам переселялись новые жильцы), которому Браун со своим стулом мешал проехать. Водитель стал отчаянно сигналить, грузчики в кузове — материться, новые жильцы из кабины — упрашивать и увещевать, но Николай всё равно не покидал свой пост, как часовой, получивший приказ охранять важный объект.

При этом замечу, что никто не решался с угрожающим видом приблизиться к нему, сгоряча толкнуть или ударить: что-то в его облике всех останавливало, завораживало, не позволяло перейти черту, внушало, что с Николаем лучше не связываться.

Браун же упорствовал до тех пор, пока не вмешивалась Богдана и не снимала с него заклятие, махнув ему платком, как гладиатору с обнажённым мечом, поставившему ногу на поверженного противника, в ожидании высшего суда, окончательного решения его участи. Взмах же платком означал примерно следующее: “Ну, хватит. Уймись. Дай проехать”. И Николай пощадил поверженного — уступил дорогу грузовику.

Весь двор был свидетелем того, что верный паладин готов был выполнить любой приказ своей дамы. Готов был — и выполнял: забирался на самую высокую перекладину пожарной лестницы, рвал для Богданы в палисаднике настурции и бегонии (золотыми шарами он брезговал) и совершал прочие подвиги, способные, казалось бы, воспламенить её сердце. Но, увы, оно оставалось холодным.

И лишь когда однажды Николай Браун не пришёл утром на свой пост, а затем не появился внизу под балконом целую неделю (вечность), Богдана сначала забеспокоилась, стала чаще выглядывать в окно и наводить на дальние уголки двора кремового цвета театральный бинокль. Наводить, подкручивать колесико на оси, протирать платком фиолетовые стекла, снова наводить и подкручивать.

Голубкина и Щеглова же при этом, прохаживаясь под балконом, твердили о том, как они были правы, когда предупреждали, чтобы та ни на что не рассчитывала.

В конце концов, Богдана не выдержала. Она разревелась и даже впала в истерику, расшвыривая по комнатам вещи, запираясь в уборной, прячась за шкафы, отбиваясь ото всех, кто протягивал к ней руки, стараясь её утешить и успокоить. Это могло означать только одно: неприступная и высокомерная Богдана с её пышными косами тоже смертельно влюбилась. В итоге, Браун свою возлюбленную украл. Подставив к стене дома лестницу, он взобрался на карниз, а затем, подтянувшись, перемахнул через перила балкона и вместе с Богданой — тем же путём, по карнизу и лестнице — осторожно спустился вниз. Богдана, смертельно боявшаяся высоты, при этом даже не пикнула, а лишь восторженно смотрела в глаза своему похитителю. Браун спрятал возлюбленную в подвале под завалами, куда уже много лет никто не решался спуститься, и лишь он один знал там все входы и выходы. У него была там своя конурка, где он хранил краденые вещи, и гордился тем, что конурка выглядела, как комиссионный магазин, — с картинами, мраморными Купидонами, антикварной мебелью, “всякой бижутерией и бутафорией”, как говорил Николай, считавший, что за этими словами, не совсем внятные ему по смыслу, скрываются ценности высшего порядка.

Был там и немецкий аккордеон, на котором Браун подбирал по слуху разные мелодии — не только одну “Мурку”, но танго и фокстроты (во дворе он считался королём модных танцев; Голубкина и Щеглова млели, когда он их вёл, опрокидывал и крутил).

Всё это он бросил к ногам своей возлюбленной, наречённой единственной и полноправной хозяйкой его несметных сокровищ, и особенно, конечно, бижутерии и бутафории, что заставило Богдану улыбнуться и промолчать, чтобы не обижать и не разочаровывать её нынешнего повелителя. Она с девственным трепетом ждала: здесь, в этой конурке, меж ними свершится то таинственное и непостижимое, что соединит их навеки.

Три дня её разыскивали с фонариками, громкоговорителями и собаками. Но проникнуть в подвал под завалы никому не удавалось. Генерал во

всеуслышание клялся Брауну содрать с него живого кожу, если тот не отпустит Богдану. А затем (убедившись, что угрозы не действуют) умолял вернуть ему дочь, обещая амнистию и отпущение всех грехов.

На четвёртый день Богдана, безвольная и опустошённая, сама вышла из подвала. К ней бросились близкие, заохали, запричитали, увели домой, стали со страхом заглядывать ей в лицо и атаковать вопросами:

— Дочка, что?.. Что он с тобой сделал?

— Ни-че-го, — ответила она с такой обидой и разочарованием, что никто не решился повторить этот вопрос.

— О чём вы с ним разговаривали? Он морочил тебе голову, клялся в любви?

— Мы разговаривали о войне.

— Какой ещё войне? С кем? С белофиннами? С японскими самураями?

— С немцами.

— Немцы же наши друзья... С чего вы взяли, что с ними будет война?

— Николай мне пообещал.

— Что за глупости! Он-то откуда знает?

— Знает, — сказала Богдана так, словно само по себе это достоверное и неопровержимое знание было гораздо важнее, чем его источник. — Ведь он же немец.

Эту фразу подхватили, и она разлетелась по двору. С тех пор во дворе стали считать, что Николай Браун — поскольку он не русский, а немец, — обладает особой осведомлённостью о будущей войне. Николай посвящён в планы немецкого командования, знаком с донесениями разведок, и уж если кого спрашивать, то лишь его: уж он-то не ошибётся.

Кончался тридцать девятый. Николаю Брауну стукнуло восемнадцать лет.

Глава седьмая

РАЗУМЕЙТЕ

В гирляндах ёлочных шаров, под сверкание бенгальских огней, сыплющих звёздные искры, и шипенье пенистых бокалов с “Советским шампанским”, при осанистой выправке Деда Мороза из папье-маше, заваленного ватным снегом, похожего на театрального Ивана Сусанина, наступил сороковой год.

О, предвоенный сороковой — время радужных блёсток бижутерии, футбольных матчей на стадионе “Динамо”, время бутафорское, показное (будем бить врага на его территории), аскетическое, целомудренное и, как сказано (а теперь с умыслом повторено), — предвоенное... Хотя войны, повторяю, особо не ждали, и на тех умников, кто её предвидел, пророчил и предсказывал, смотрели с подозрением — почти как на врагов или вражеских шпионов (не путать с отечественными разведчиками — такими, как актёр Кадочников из известного фильма).

А если и не врагов, то слишком зрячих, наделённых особым, болезненно изощрённым зрением, что тоже не поощряется. Зрением, позволяющим различать далёкое и не видеть близкое, а это, знаете ли... Это как чистить ботинки в коридоре и при этом отравлять скипидарной вонью гуталина чистый воздух. Иными словами, *западло*...

Поэтому-то и лучше быть слепым, чем зрячим, лучше быть близоруким, чем дальнорюким... Пить “Советское шампанское” и отдыхать в Парке культуры и отдыха имени Горького. Так-то, граждане. Разумейте... Ведь жизнь — она вот тут, вблизи: на Красной площади, на парадах и демонстрациях: все дружно шествуют, все веселятся. Перед гранитным мавзолеем машут флажками: “Слава... слава...” — и дружное эхо слитных голосов разносится аж до Васильевского спуска, а то и за Москва-реку. Физкультурники застывают в трёхъярусных пирамидах на мускулистых плечах друг у друга. Передовики и стахановцы вышагивают с бутафорскими отбойными молотками наперевес, а колхозники — с такими же фанерными, налитыми отборным зерном колосьями. С мавзолея их скуными, но выразительными жестами

приветствуют, одобряют и поздравляют многочисленные вожди во главе с главным и единственным Вождём, почти богом.

Тут и выпить не грех (по негласной директиве это не возбраняется), и сплясать под гармонку, поскольку светлое будущее — оно тоже здесь, рядом, не за горами. Недаром сказал поэт, если не лучший и талантливейший, калибром помельче, то всё-таки сазандарь (воспевал Грузию и переводил любимых Вождём грузинских поэтов): “Ты рядом, даль социализма”. Вот оно как: даль-то, оказывается, рядом. Потому и тот, кто близорук, если не вовсе слеп, кто верит в близкое и не страшится какой-то там далёкой войны, — тот свой, из наших, испытанный и надёжный. Далёкое же размыто, туманно, обманчиво — в него и вглядываться не стоит. Белофиннов мы одолели, японских самураев разгромили: “И летели наземь самураи!..” Пакт о ненападении заключили, Молотов и Риббентроп после подписания подняли бокалы с шампанским — чего ещё бояться? Только получать командирские пайки с балыком и икрой, путёвки в санатории Крыма и Кавказа, ордена и звёздочки на погоны...

И — короноваться на звание вора в законе... Это тоже особо не возбранялось, милиция смотрела сквозь пальцы и не вмешивалась. Да и то понятно: раз уж царя-помазанника расстреляли в подвале со всей семьёй, пусть хоть кто-то вместо него коронуется. Хуже не будет, а лучше?.. Все живут так хорошо, что лучше уже невозможно. Главное — Родину любить, уголовники же — братки, — тоже патриоты: у Родины хоть и крадут, но по своим понятиям её любят... За это им и корона на стриженую башку. Пусть красуются — они же не политические. Это те без понятия — умники, интеллигенты, и Родина для них — хуже злой мачехи, хуже оголодавшей волчицы с сосцами, лишёнными молока...

Глава восьмая

АНГЕЛ ЗАКРЫВАЕТ ЛИЦО

Николая короновали весной сорок первого, как мне удалось узнать, хотя я не до конца уверен в этой дате: источники моих сведений слишком зыбки и ненадёжны. Ну, что-то вякнул Сиплый с первого этажа, хотя он тогда был ещё пацаном и толком ничего не помнил... что-то добавил Горбатый, старый вор в законе, якобы сидевший с Брауном под Воркутой. Но пойдй разбери, врёт он или не врёт, поскольку сочинять мастер и настоящая кличка его — Горбатов, по фамилии писателя. И он сам эту кликуху чуток изменил — подправил, чтобы не поганила ему воровской авторитет, чтобы втихомолку не дразнили и не подсмеивались.

Ну, что-то подтвердил Иван Могила, самый надёжный источник, которого так и нарекли — Могилой (настоящая фамилия его Хвоц), поскольку, если что скажет, то это — верняк. Верняк не верняк, а всё равно сведений мало, что я не мог не сознавать и не сетовать по этому поводу. Всё-таки я тоже историк — историк своего двора, и мне хотелось быть точным и в фактах не врать. Ведь тогда вралі запойно, вдохновенно, и в учебниках хватало вранья. Впрочем, не буду ругать учебники, как не буду хулить мою красную кирпичную школу на Большой Молчановке, где отучился четыре года, моих наивных, неискушённых, девственных учителей (их ведь тоже не доучили) и директора с плоской грудью, особым педагогически выверенным накрахмаленным жабо на шее и перетянутым шрамом ртом — Дору Дормидонтовну.

Не буду, ведь я их не просто любил, а боготворил, считая чуть не бесплотными ангелами, неземными существами, кои питаются цветочной пыльцой или амброзией и, уж конечно же, не ходят в туалет (мое детское воображение не допускало такого кощунства и осквернения святыни)...

Однако вернёмся к коронации. Для меня как историка нашего двора одно несомненно. Вернулся Николай вором в законе, о чём весь двор сразу узнал: и заговорили, и ещё больше зауважали. Конец мая, цвела в палисадниках настурция и бегония, благоухала и лезла в окна черемуха, сладко пахло липами, и первые грозы шумели и прокатывались по небу так, что содрогались водостоки, из которых выметало пенную воду.

За какие заслуги короновали Брауна, ведь Арбат — не воровская Ордынка и не бандитская Марьино роща, где обитают лишь домушники и мокрушники? Там, на Арбате, не случайно рождаются кликухи вроде упомянутого мною Горбатова, поскольку арбатские братки кое-что слышали о делах литературных и даже знали, что на Малой Молчановке некогда жил такой жиган, правда не фартовый, поскольку его убили молодым, по фамилии Лермонтов.

Словом, родиться и жить на Арбате вовсе не означало сразу получить воровскую марку, и на коронации об этом было сказано. Оппозиция базарила, что Брауна следует прокатить, а то он, чего доброго, ещё стихи сочинять начнёт. Да, раздавались по углам и такие голоса... Хотя у Николая нашлись авторитетные и чтимые среди воров поручители, но не это главное. И Сиплый, и Горбатый, и Могила свидетельствуют, что Николай достойно держался. Уж не знаю, начистил ли он до зеркального блеска себе ботинки, но не заискивал и не старался угодить.

С одобрением восприняли и то немаловажное обстоятельство, что его отца расстреляли за растрату. К тому же признали, что арбатские татуировки Николая не уступают ордынским, а к арбатским добавились ещё и воркутинские: словом, он весь был украшен — олицетворённый шик и фасон. Но главное всё же не это. Горбатый рассказал, что Николай составил полный список украденного, и в этом списке под одним из первых номеров значилась генеральская дочка. Такого на подобных коронациях отродясь ещё не слышали. Правда, кое-кто принял это за фуфло, но в целом оценили: это и удивило, и развеселило. Вволю поулыбались, посмеялись, позубоскалили, а весёлая минутка в лагерях ценится ой как высоко. Николаю это зачли. К тому же он выложил в общак крупную сумму, которую чудом довёз до Воркуты и сохранил при шмонах.

Словом, все проголосовали, но тут нужна одна оговорка — поправка некая: все, кроме... ангела. Ангела со смертельно белым, закрытым ладонями рук лицом, чьи крылья были распростёрты за спиной, а ступни — стопочки чистоты божественной, — над землёй зависли. На него указал старичок в драном ватнике по прозвищу Ботвинник, считавшийся у зеков умным и прозорливым. Его звали на коронации с условием, чтобы он сидел и помалкивал, а если что — сказал бы, но коротко и по существу.

Вот он-то после коронации поманил заскорузылым пальцем Брауна, взял под локоть и шепнул ему на ухо:

— Водочки мне нальёшь? Тогда скажу кой-чего...

— Налью, старик. Есть водочка. Говори.

— Видел я *его* аккурат над тобой.

— Кого это? — Николай недоверчиво отстранился.

Ботвинник тихонько засмеялся, конфузливо закрыл беззубый, черневший провалом — дырою — рот ладонью, но всё же произнёс:

— Ангела смерти, милый. Хи-хи-хи.

— Ух ты, мать!.. И что ангел?

— А ничего. Руки-то за тебя и не поднял. Не стал голосовать со всеми. Остерёгся...

Николай задумался, как это понимать. На всякий случай спросил:

— Ну, и что теперь?

— А то, милой... то самое. Разумей, раз такой умный.

— Да куда мне уразуметь... Сам скажи.

— Умрёшь ты скоро. Вот и весь сказ.

— Ну, это мы ещё посмотрим...

— Смотри, смотри, пока глазелки не лопнули... Только умирать всё равно придётся. Да и не тебе одному — многих вскорости Господь приберёт. Страда настала — жатва аж побелела...

— Ладно, не пугай. Я не из пугливых.

— Это верно. Ты герой. По-геройски и голову сложишь. Ну, бывай, страдалец...

— Почему это я страдалец? — Брауну не понравилось, что его так называют.

— А потому что я не зря сказал: страда великая грядёт — вот и страдалец. Водочки, водочки мне не забудь налить. Так-то, милый.

Старик покрутился ещё возле Николая и исчез, словно его и не было.

Эту историю мне поведал Горбатый — хоть и не лауреат Сталинской премии, но тоже сочинитель известный. Поэтому за достоверность её не ручаюсь, но передаю как есть.

Глава девятая

ЗАМОЛЧАНО И ЗАБЫТО

Летом сорок первого, когда в палисадниках пышно и муторно цвели бегония и гортензия, осыпая вокруг себя лепестки, а золотые шары, обламываясь, ложились головками на дорожки, прокатилась по небу самая страшная адская гроза. В полном согласии с пактом о ненападении двинулась на нас жуткая стальная армада и пошла месить нашу землю, подминая под себя всё живое.

То, что слепцы не желали знать, а зрячие предсказывали с точностью до даты — 22 июня — сбылось. Но правоты предсказателей словно бы и не заметили, и не признали, и даже более того — правоту их замолчали и забыли: не они оказались в героях сводок и донесений. Никто пред ними не извинился за преступную беспечность — за то, что им не поверили и пред ними так сплеховали; никто не покаялся. И, конечно же, им не объявили благодарности перед строем и не представили к награде. И всё потому, что те жили чем-то слишком далёким и не умели жить близким, а следовательно, даже в правоте своей оставались чужими.

*Нет ни в чем вам благодати,
С счастьем у вас разлад:
И прекрасны вы некстати,
И умны вы невпопад.*

Некстати и невпопад — как это по-русски! У нас что ни возьми — всё невпопад, и в то же время попадание самое точное. Попадание в десятку. В яблочко.

Оставались же чужими, поскольку мыслили не как все, отличались, не совпадали, а главное, осмеливались считать себя умней командования, генералов, маршалов и самого Вождя, который втайне бывает прав даже тогда, когда явно ошибается. На то он и Вождь. Они же осмеливались считать. А кто так считает, тот не слишком отличается от врагов — врагов затаившихся, замаскированных. Но лишь только их правота — правота зрячих перед слепыми, — обнаружилась, возник непреодолимый соблазн их разоблачить, обличить, сорвать с них маски. Сорвать, поскольку, обличая их, оправдывали себя.

Так я как историк объясняю себе то, что с началом войны отношение к Николаю переменялось. Наша коммуналка и, прежде всего, Ксения Андриановна, Матрёна Ивановна и Слободан Деспот приняли его с прежней любовью, не дали ему почувствовать никакой перемены. Но для двора он перестал быть своим. Наш двор сразу разделился на своих и чужих, воров и честных. При этом наши честные не прочь были что-нибудь мимоходом украсть, а не наши — воры, напротив, могли проявить честность и благородство, поделиться последним и отдать самое дорогое.

Но это ничего не меняло. Воры, в отличие от наших дворовых мальчиков, не шли в военкоматы записываться на фронт и умирать, оставаться навеки девятнадцатилетними. Воров и всю арбатскую подворотню не спасало больше то, что они любят Родину. Никто в их любовь теперь не верил. Поэтому воровская сплочённость дрогнула. Воры взяли реванш уже после Победы, в 1946–1956 годах, когда вспыхнула война воров против суки. Её так и называли: сучья война. Суки отличались от воров тем, что воевали на фронте, якшались с властью, выполняли приказы, получали ордена и медали. Но в сорок первом до этого было ещё далеко; будущие суки ещё ходили в героях, и Николай — при всём своём благородстве и готовности поделиться последним — имел несчастье по меркам нашего двора оказаться среди воров.

Более того, ему припомнили, что он — немец, не Егоров по отцу, а именно Браун по матери.

Раньше этому не придавали значения, и в нашем дворе все нации были вперемешку — русские, татары, украинцы, грузины и даже ассирийцы (в своих узких уличных кабинках они торговали гуталином, шнурками и зарабатывали чистой обувью). Но теперь это значило всё — если не по части татар и грузин, то по части немцев уж точно. Честные (свои) сплотились и выступили против воров (чужих), двор — против подворотни, и если раньше Николая любили как русского, то теперь возненавидели как фрица.

После, правда, стали различать немцев и фашистов, но тогда, в самом начале войны, любой немец был фрицем, а фриц — фашистом, будь он даже близкой роднёй Эрнста Тельмана.

Вот и Николай не избежал такой участи. При этом его перестали бояться и уважать за силу, ловкость и смелость — перестали, потому что оказались в сговоре и чувствовали дворовую спайку — поддержку друг друга. Любое дворовое ничтожество могло свистнуть в два пальца вслед Николаю и бросить ему насмешливый вызов. Да, мои бывшие соседи по коммуналке до сих пор рассказывают, что стоило Николаю выйти из дома, и он слышал за своей спиной:

— Эй, урка, а почему тебя отпустили из тюрьмы до срока?

Это изощрялся шепелявый, стриженный под ноль, с выбитым зубом Федюня, которому Браун, не оборачиваясь, отрывисто бросал через плечо:

— Заткнись.

— Ну, ударь меня, ударь! — напрашивался, лез на рожон Федюня, которому всё-таки хотелось заставить, чтобы к нему обернулись. — Посмотришь, что тогда будет.

— Много чести тебя бить. Ещё в штаны наложишь.

— А тебе не много чести? Честных воров до срока не отпускают. Ты к честным не примазывайся.

— Вали отсюда, сопливый. — Николай еле сдерживался, и сжатые губы его белели.

— Это мой двор, а не твой. Ты здесь чужой. Поэтому сам канай, пока тебе не накостыляли.

Тут Николай слегка приостанавливался, делал вид, что не расслышал, и не без хитрости заходил с другого бока.

— А самокат тебе сделать на подшипниках? Могу и свинцовую битку для расшибалки выплавить. Хочешь?

— А что это ты вдруг?.. — Федюня не решался признаться в своём желании, подозревая какой-то подвох.

— Я сегодня добрый. Пользуйся.

— Ну, сделай... выплави...

— Вот ты и купился... Ха-ха! Дёшево стоишь.

— Пошёл ты со своей биткой... Говори, почему тебя до срока отпустили? Почему в военкомат не идешь? Сдрейфил? Или слишком гордый?

Николай угадывал в этом вопросе влияние дворового агитпропа.

— А кто тебе велел об этом спросить? Двор?

— Ну, двор...

— Вот и скажи своему двору... Меня отпустили, потому что я кое-что знал.

— А что ты знал? Знал, когда начнётся война?

— Когда рак на горе свистнет...

— Ты знал, потому что ты — Браун. Или даже Браунцвейг! Браунпупс! Ха-ха! Браунпупс!

— Браун или не Браун — при чём здесь?..

— А при том, что ты немец! Немец! Иди к своим немцам! Иди к своему Адольфику! Выноси за ним ночной горшок! Лижи ему задницу!

Это был уже самый откровенный — наглый и беспардонный — агитпроп. Иными словами, за такой базар Николай мог и отметелить, а то и порезать, но он сдерживался. Видно, на душе у него свербело из-за того, что он — Браун и что не идёт в военкомат. Всё-таки свербело, и совесть его жгла и мучила, хотя он храбрился и вида не показывал. И начищенные ботинки (всё те же коричневые) на нём, как всегда, сияли, но всё-таки... всё-таки... прожигала насквозь... на то она и совесть.

СОВПАДЕНИЕ НЕ СЛУЧАЙНОЕ

Зимой сорок первого Николай исчез. За обитой драной клеёнкой и изрезанной ножом дверью — последней в коридоре — не слышалось ни звука, ни скрипа, ни шороха. Все решили, что Николая где-то спрятали братки — спрятали от опасности как вора в законе, чтобы он переждал, отсиделся, пока тут такая буча: военкоматы всех гребут, всем шлют повестки с предписанием явиться. А многие и сами рвутся на фронт, что уж вовсе не по воровским понятиям. Иными словами, *западно*. Так дворовый агитпроп изображал исчезновение Николая. Но была и другая версия. Многие высказывали догадку, что он тайком убежал через фронт к немцам (немцы были близко — приближались к Перхушкову). Убежал, чтобы избежать призыва и воевать на их стороне. Вернее, не на их, а на своей, ведь он же Брауншупс — немец. А куда ещё он мог убежать? Не в подвале же прятаться и не на чердаке.

О Брауне спрашивал милиционер — не Емельяныч (того забрали на фронт), а совсем молодой, почти подросток по имени Валериан. Но сказать ему ничего не могли — только отводили взгляд и пожимали плечами. Да и некому было говорить: половина нашей и двух соседних коммуналок ушла добровольцами. Даже ассирийцы заперли свои кабинки, оставив непроданными шнурки и баночки гуталина, и ушли: раскидало их по разным фронтам.

Комнатушку Брауна в конце коридора опечатали, а потом вскрыли и вселили в неё старика-инвалида, стучавшего костылём и что-то клепавшего на ручном станке. Точнее, он сам вселился, никого особо не спрашивая. Вредный был старичок, прижимистый — что твой куркуль нераскулаченный. Мыла и спичек никому не давал (а если одалживал, то под расписку: вернуть с довеском), хотя у самого был целый склад.

Лучше бы вселили ангела, закрывающего лицо ладонями: оставалась бы хоть маленькая надежда. Надежда на возвращение Николая. Старичок же был — хуже самой смерти, такой, что и надежды никакой не осталось. Он прямо всем говорил, и говорил с удовольствием: “К немцам убёг ваш Браун. На довольствие его там поставили. Воюет против нас. Скоро крест получит за старание”. И почти не скрывал, что и сам бы мечтал о таком довольствии и — если б не костыль, — убёг бы к немцам.

* * *

Вот и вся история — если не Арбата (его история ещё не написана), то, во всяком случае, фартового жигана Николая Брауна. Вряд ли спрятали его братки, пусть даже в это верить было бы легче, хоть и лёгкой веры не бывает. Но, скорее всего, перебежал он к немцам. Ведь и сам немец, и к тому же мать научила его немецкому. Читал и писал без словаря. По-русски писал с ошибками и кляксами, грязно, а по-немецки — чистенько и гладко, почти без ошибок. Значит, готовился...

К такому выводу под влиянием агитпропа пришёл двор, а с ним и подворотня. И постепенно к нему же сползала, как подтаявший ледок к самому краю крыши, наша коммуналка. Хоть на агитпроп и не столь податливые, но сползали, скользя подошвами, и концертмейстер Ксения Андриановна, и зубной врач Слободан Деспот, и парикмахерша Матрёна Ивановна, и другие, ютившиеся по правую и левую стороны длинного коридора.

Другой версии у нас не было, и приходилось как-то мириться с этой. Со многим приходится мириться, хотя сначала мы о-го-го... противимся... выказываем своё упрямство и несговорчивость. Но на несговорчивых воду возят. Здесь бы и поставить точку, ан нет, у истории нашлось-таки продолжение.

У старичка, вселившегося в квартиру Николая, однажды углядели газету, которую тот не читал, а рвал на куски и подсовывал под сырые дрова, чтобы растопить печку. В газете же мелькнула фотография — до боли знакомое лицо то ли Николая Брауна, то ли кого-то, на него похожего.

— А ну-ка, милейший, позвольте... дайте-ка сюда, — властно и высокомерно попросила Ксения Андриановна, с нетерпением шевеля пальцами протянутой руки — шевеля так, словно собиралась пробежать ими по клавишам.

Старичок нехотя дал. Ксения Андриановна надела очки, поднесла газету к глазам. Поднесла и тотчас воскликнула: “Он! Господи, он!” С фотографии на неё смотрел Николай Браун. В выцветшей гимнастёрке, с непокрытой, стриженной ёршиком головой, пилотка спрятана под ремень. С двумя медалями на левой стороне груди и орденом Красной Звезды — на правой. Никаких сомнений, что это именно Николай.

Под фотографией же — набранный крупным шрифтом рассказ корреспондента о том, как наш Браун героически воевал, ходил в разведку, вместе с ротными лихими ребятами совершал отчаянные вылазки за языками. Пролезал ужом под колючей проволокой, переходил линию фронта по минным полям. Своим воровским ножом укладывал рядком часовых, не успевавших даже охнуть — не то что вскинуть автомат и выстрелить. Возвращался целым и невредимым, скалился перед медсёстрами извечной своей шальной улыбкой. И сам же переводил всё, о чём доставленные в штаб немцы сообщали на допросах. Сообщали или, по выражению тех же ротных, лаяли на своём собачьем языке.

Рассказывал корреспондент и о том, как в последнем бою под Берлином, отстреливаясь и матерно ругаясь, Николай пал смертью храбрых. Пуля попала ему прямо под сердце и прошла навывлет.

Вот так он и погиб, коронованный вор в законе.

Впрочем, о ругани ничего сказано не было. Хотя эта подробность важна и весьма существенна, корреспондент о ней умолчал. Напоследок сказал лишь о том, что посмертно Браун был награждён вторым орденом Красной Звезды, но прицепить орден к гимнастёрке ему уже не пришлось.

Что ж, мы дозвонились до редакции. Корреспондента того разыскали. Он вспомнил, как брал интервью у старшего лейтенанта по фамилии Браун, и ещё привёл подробности, не попавшие в заметку.

Значит, не прятали его братки, нашего Николая, и не бежал он к немцам, а честно отвоевал свой срок — сначала в штрафбате, а затем — в разведроте. Теперь это установленный факт — если не для истории вообще, то для истории нашего двора.

И ещё скажу напоследок. Николай Браун не дожил до Победы. Все в нашем дворе его жалеют: “Эх, не дожил, бедняга, совсем немного, всего-то чуть больше месяца”. Я же думаю: отчасти, может быть, и хорошо, что не дожил. Время от Победы для него отсчитывается назад, в наше прошлое (для меня как историка это особенно важно), а оно с каждым годом проясняется, приобретает страдальческий, просветлённый ответ.

Вперёд же пусть отсчитывают другие.